

Николай Александрович Бердяев

Константин Леонтьев

**Москва
Книга по Требованию**

УДК 101
ББК 87

Николай Александрович Бердяев

Константин Леонтьев / Николай Александрович Бердяев – М.: Книга по Требованию, 2011. – 120 с.

ISBN 978-5-458-03451-7

Николай Александрович Бердяев - русский философ-идеалист, еще при жизни ставший одним из наиболее популярных русских мыслителей, широко известным не только в России, но и в Западной Европе. В простой и ясной форме он выразил главные тенденции русской философии, зародившиеся в творчестве Чаадаева, славянофилов и Достоевского. В работах Николая Бердяева получило наиболее адекватное и полное выражение своеобразие русской философской традиции.

ISBN 978-5-458-03451-7

© Издание на русском языке, оформление, «
YOYO Media», 2011

© Издание на русском языке, оцифровка, «
Книга по Требованию», 2011

Н. Бердяев
Константин Леонтьев
Очерк из истории русской
религиозной мысли

Глава I

Происхождение. Молодость в Москве. Натурализм и эстетизм. Любовь. Начало литературной деятельности. Служба в Крыму. Искание счастья в красоте

I

Константин Николаевич Леонтьев – неповторимо-индивидуальное явление. Нужен особый вкус, чтобы полюбить и оценить его. Хорошо говорит о нём В. В. Розанов: «Он как не имел предшественников (все славянофилы не суть его предшественники), так и не имел школы. Я, впрочем, наблюдал, что вполне изолированный Леонтьев имеет сейчас, и, вероятно, всегда имел и будет иметь, два-три, много двадцать-тридцать, в стране, в цивилизации, в культуре, настоящих поклонников, хранящих „культ Леонтьева“, понимающих до последней строчки его творения и предпочитающих его „литературный портрет“ всем остальным в родной и в неродных литературах». Трудно отыскать К. Леонтьева на большой дороге, на основной магистрали русской общественной мысли. Он не принадлежит ни к какой школе и не основал никакой школы, он не характерен ни для какой эпохи и ни для какого течения. Он ни за кем не следовал, и никто за ним не следовал. Он много писал на политические злобы дня, страстно относился к самым жизненным историческим задачам своего времени, но не имел влияния, несмотря на признанный огромный дар свой, и остался одиноким, непонятым, никому не пригодившимся, интимным мыслителем и художником. В почти злободневные, политические статьи свои К. Леонтьев вложил самые интимные свои мысли, предчувствия и прозрения. Леонтьевский подход к вечным темам через слишком временные остался чуждым и непонятным «правому» лагерю, к которому он был формально и официально близок, и ненавистен и отвратителен лагерю «левому». И опять хорошо говорит об этом Розанов: «Западники отталкивают его с отвращением, славянофилы страшатся принять его в свои ряды – положение единственное, оригинальное, указывающее уже самую необычайностью своею на крупный, самобытный ум; на великую силу, место которой в литературе и истории нашей не определено...» Всё творчество К. Леонтьева насыщено волей к власти и культом власти. Но в жизни оставался он самым безвластным человеком. Он знает лишь эстетику власти, а не действительную власть. Он был одинок, не понят и не признан потому, что он был первым русским эстетом. В его время эстетизм был чужд в России всем направлениям.

Когда вникаешь в образ К. Леонтьева и в судьбу его, иногда кажется, что он был так мало понят, так мало оценен, так одинок у себя на родине, потому что много было в нём нерусских черт, чуждых русскому чувству жизни, русскому характеру, русскому мирозерцанию. Он пишет в одном из своих писем, что *думает не о страдающем человечестве, а о поэтическом человечестве*. Это равнодушие к «страдающему человечеству» и это искание «*поэтического человечества*» не могло не показаться чужим и даже отталкивающим широким слоям русской интеллигенции. К. Леонтьев не был гуманистом или был им исключительно в духе итальянского Возрождения XVI века. Он должен был казаться русскому обществу чужестранцем уже из-за своего острого и воинствующего

эстетизма. Эстеты появились у нас лишь в начале XX века, но и то по подражанию, а не по природе, по «направлению», а не по чувству жизни. К. Леонтьев был также романтиком. Романтизм – западное явление, рожденное на католической и протестантской духовной почве, чуждое православному Востоку. У К. Леонтьева был культ любви к женщине, которого почти не знают русские. У него была латинская ясность и четкость мысли, не было никакой расплывчатости и безграничности. В мышлении своем он был физиолог и патолог. И это – черта, чуждая русским и не любимая ими. К. Леонтьев был аристократ по природе, по складу характера, по чувству жизни и по убеждению. И это не русская в нём черта. Русские – демократичны, они не любят аристократизма. Славянофилы были очень типичными русскими барами-помещиками, но в барстве их не было ничего аристократического. Аристократизм есть явление западное. Почти все русские писатели, русские мыслители прошли через увлечение народнически-демократическими идеями, этими идеями пленялись у нас и слева и справа. К. Леонтьев был совершенно чужд народнически-демократических увлечений, в его душе не было тех струн, которые пробуждают народолюбивые чувства и склоняют к демократическим идеям. В этом отношении с Леонтьевым можно сравнить лишь Чаадаева, который также прожил всю жизнь одиноким чужестранцем. Но парадоксально и оригинально в Леонтьеве то, что при такой совокупности свойств он всегда хотел держаться *русского* направления, и поэтому его по недоразумению зачислили в славянофильский лагерь. Он, конечно, никогда не был славянофилом и во многом был антиподом славянофилов. Но он не был и западником, подобно Чаадаеву. Он не принадлежит никакому направлению и никакой школе. Он не типичен и не характерен, как типичны и характерны славянофилы, как типичны и характерны в другом отношении русские радикальные западники, – он сам по себе. Он человек исключительной судьбы. К. Леонтьев принадлежит к тем замечательным людям, для которых основным двигателем является не потребность дела, служение людям или объективным целям, а потребность разрешить проблему личной судьбы. Он занят самим собой перед лицом вечности. Поэтому он не находит себе места, меняет профессии, не может ни на чем успокоиться. Он то врач, то консул, то литератор, то цензор, то монах. Он решает объективные вопросы в связи с субъективным вопросом своей судьбы. Стиль его жизни, стиль его писаний совершенно объективный. Он из тех, для кого субъективное и объективное отождествляется. Такие люди особенно интересны. Вот как характеризует он стремления своей юности: «Мне было тогда двадцать три года; я жил личной жизнью воображения и сердца, искал во всём поэзии, и не только искал, но и *находил* её. Я желал и приключений, и труда, и наслаждений, и опасностей, и энергической борьбы, и поэтической лени...» Розанов имел основания сказать о К. Леонтьеве: «Он отличался вкусами, поэмами, гигантски-напряжёнными к *ultra*-биологическому, к жизненно-*напряжённому*. Его «эстетизм» был синонимичен, или, пожалуй, вытекал или коренился на *анти-исмертности* или, пожалуй, на *бессмертии красоты*, прекрасного, прекрасных форм». Вся жизнь К. Леонтьева распадается на две половины – до религиозного переворота 1871 года и после религиозного переворота. И в первую и во вторую половину жизни он решает проблему личной судьбы. Но в первую половину жизни он решает эту проблему под знаком искания счастья в красоте, искания «*ultra*-биологического», «жизненно-напряжённого». Во вторую половину

жизни он решает эту проблему под знаком искания спасения от гибели. *Эстетическая упоенность жизнью и религиозный ужас гибели – вот два мотива всей жизни К. Леонтьева*. Инстинкт «антисмерти» и «бессмертия красоты» действует и в том и в другом жизненном периоде.

II

Национальные, сословные, семейные инстинкты и традиции преломляются в неповторимой индивидуальности, и так создаётся человек. Органическая наследственность человека, его происхождение, предания, которыми окружено его детство, – всё это не случайные оболочки человека, не наносное в нем, от чего он может и должен совершенно освободиться, всё это – глубокие связи, определяющие его судьбу. Не случайно Константин Леонтьев родился дворянином, как не случайно он родился русским. Связь его с предками не была случайной эмпирической связью, она имеет отношение к глубочайшему ядру его жизни. К. Леонтьева нельзя себе иначе представить, как русским баринком, баринком не только по физическому, внешнему его облику, но и по внутреннему, духовному его облику. Без барства Леонтьева, без аристократических его инстинктов непонятна вся его судьба и необъяснимо всё его мирозерцание. Он духом своим принадлежит своей родине и своему роду. Большие, творческие люди перерастают род свой, выходят из быта своего, но они предполагают в роде и в быте почву, их питавшую и воспитавшую. Л. Толстой невозможен вне вскормившего и вспоившего его дворянско-помещичьего быта, вне того рода, против которого он восстал с небывалым радикализмом. Дворянин может восстать на дворянство, барин может дать негодующую и уничтожающую критику барства, но он делает это по-дворянски и по-барски. Л. Толстой так же до конца остался баринком в своем отрицании барства, как К. Леонтьев в своем утверждении.

Константин Николаевич Леонтьев родился 13 января 1831 года в сельце Кудиново Мещовского уезда Калужской губернии. По его словам, родился он, как и Вл. Соловьёв, на седьмом месяце. Отец его, Николай Борисович, был ничем не замечательный человек и никакого влияния на сына своего не оказал. Подобно многим другим дворянам, он служил в гвардии, был удален из полка за буйство и жил потом помещиком средней руки. Средства у него были небольшие. В своих воспоминаниях К. Н. отзывается об отце довольно непочтительно: «Отец мой был из числа тех легкомысленных и ни к чему невнимательных русских людей (и особенно прежних дворян), которые и не отвергают ничего, и не держатся ничего строго. Вообще сказать, отец был и не умен, и не серьезен». К. Н. отнёсся к смерти отца совершенно равнодушно. Есть основания думать, что он был незаконный сын. Все его детские впечатления и все чувства его были направлены на мать. Мать его, Феодосия Петровна, во всех отношениях стояла выше отца, и трудно понять даже, почему она вышла за него зауж. Она принадлежала к старому дворянскому роду Карабановых. Вот как описывает К. Леонтьев образ деда своего Петра Матвеевича Карабанова: «Он был, может быть, один из самых „выразительных“ представителей того рода прежних русских дворян, в которых иногда привлекательно, а иногда возмутительно сочеталось нечто тонко „версальское“ с самым странным, по своей необузданной свирепости, „азиатским“. Истинный барин с виду, красивый и надменный донельзя, во многих случаях великодушный рыцарь, ненавистник лжи, лихоимства и двуличности,

смелый до того, что *в то время* решился кинуться с обнажённой саблей на губернатора, когда тот позволил себе усомниться *в истине его слов...* слуга Государю и *Отечеству преданный*, энергический и верный, любитель стихотворства и всего прекрасного, Петр Матвеевич был в то же время властолюбив до безумия, развращён до преступности, подозрителен донельзя и жесток до бессмыслия и зверства». Не случайно был у К. Леонтьева такой дед. Некоторые черты деда передались внуку. И в нём было сочетание «версальской» тонкости и свирепости, хотя и очень смягчённой. Образ матери занимает центральное место в первых впечатлениях и в детских воспоминаниях К. Н. С ней связаны его первые эстетические и религиозные впечатления, оставившие след на всей его жизни. Первые религиозные переживания, которые навсегда запомнились К. Н., срослись у него с эстетическими. И образ красивой и изящной матери сыграл тут немалую роль. «Помню картину, помню чувство. Помню кабинет матери, полосатый, трехцветный диван, на котором я, проснувшись, ленился. Зимнее утро, из окон виден сад наш в снегу. Помню, сестра, обратившись к углу, читает по книжке псалом: „Помилуй мя, Боже!.. Окропиши мя исопом и очищуся; омоети мя и паче снега убелюся. Жертва Богу, дух сокрушен; сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит!“ Эти слова я с того времени запомнил, и они мне очень нравились. Почему-то особенно трогали сердце... И когда уже мне было сорок лет, когда матери не было на свете, когда после целого ряда сильнейших душевных бурь я захотел сызнова учиться верить и попал на Афон к русским монахам, то от этих утренних молитв в красном кабинете с видом на засыпанный снегом сад и от этих слов псалма мне всё светился какой-то и дальний, и коротко знакомый, любимый и теплый свет. Поэзия религиозных впечатлений способствует сохранению в сердце любви к религии. А любовь может снова возжечь в сердце и угасшую веру. Любя веру и её поэзию, захочется опять верить». «Жертва Богу, дух сокрушен, сердце сокрушенно и смиренно Бог не унижит». Я с тех пор никогда не могу вспомнить о матери и родине, не вспомнивши этих слов псалма; до сих пор не могу их слышать, не вспоминая о матери, о молодой сестре, о милом Кудинове нашем, о прекрасном обширном саде и о виде из окон этой комнаты. Этот вид не только летом, когда перед окнами цвело в круглых клумбах столько роз, но и зимою был исполнен невыразимой, только близким людям вполне понятной поэзии!» У К. Н. с детства была эстетическая любовь к православному богослужению, и это сыграло немалую роль в его религиозном переводе.

Первые острые, пронзающие эстетические восприятия жизни К. Леонтьев испытал в связи с образом своей матери и образом своей родной усадьбы Кудиново. Так материнское лоно – родной матери и родной земли – было изначально обвеемо для него красотой. «В нашем милом Кудинове, в нашем просторном и веселом доме, которого теперь нет и следов, была комната окнами на запад, в тихий, густой и обширный сад. Везде у нас было щеголевато и чисто, но эта казалась мне лучше всех; в ней было нечто таинственное и малодоступное и для прислуги, и для посторонних, и даже для всей семьи. Это был кабинет моей матери... Мать любила уединение, тишину, чтение и строгий порядок в распределении времени и занятий. Когда я был ребёнком, когда ещё „мне были новы все впечатленья бытия“... я находил этот кабинет прелестным... У матери моей было сильное воображение и очень тонкий вкус». «Летом были почти всюду

цветы в вазах, сирень, розы, ландыши, дикий жасмин; зимою всегда пахло хорошими духами. Был у нас, я помню, особый графинчик, граненый и красивый, наполненный духами, с какой-то машинкой, которой устройство я не понимал тогда, не объясню и теперь... Была какая-то проволока витая, и был фитилек, и что-то зажигалось; проволока накаливалась докрасна, и комната наполнялась благоуханием легким и тонким, постоянно, ровно и надолго... Воспоминания об этом очаровательном материнском „Эрмитаже“ до того связаны в сердце моём и с самыми первыми религиозными впечатлениями детства, и с ранним сознанием красот окружающей природы, и с драгоценным образом красивой, всегда щедроголовой и благородной матери, которой я так неоплатно был обязан всем (уроками патриотизма и монархического чувства, примерами строгого порядка, постоянного труда и утончённого вкуса в ежедневной жизни)». По словам самого К. Н., у матери его был характер не ласковый и не нежный, а суровый, сердитый и вспыльчивый. Но отношение его к матери напоминает влюблённость, и чувство это осталось у него навсегда. И он никогда не хотел оскорбить тех чувств и идеалов, которым мать его была верна до гроба. Это были монархические чувства и консервативные идеалы, и они срослись для К. Леонтьева с образом прекрасного. С образом прекрасного навсегда связалось у него и родное Кудиново, которое под конец жизни принужден он был продать мужику, запутавшись в долгах. Он всю жизнь прожил под обаянием поэзии и красоты русских помещичьих усадеб. И возненавидел всё то, что убивало эту поэзию и красоту. Либерально-эгалитарный прогресс убивал всё то прекрасное, что связано было для него с образом родной матери и родной усадьбы. Навсегда запечатлелся в его сердце день именин его сестры и восторженное восприятие красоты цветов в Кудинове. «С этой минуты у меня явилось и осталось на всю жизнь ясное, сознательное представление о первых красотах весны и лета; о том, что цветы в вазе на столе — это что-то веселое, молодое, благородное какое-то, возвышенное... Всё, что только люди думают о цветах, я стал думать лишь с этого утра 18 мая. И с тех пор я не могу уже видеть ни ирисов, ни сирени, ни нарциссов, даже на картине, чтобы не вспомнить именно об этом утре, об этом букете, об этих именинах сестры». У К. Леонтьева очень рано кристаллизовалась определённая эстетика жизни, и она стала господствующей в нём стихией. Все жизненные явления он оценивал этой своей неизменной эстетикой и построил целую теорию эстетического критерия как самого всеобъемлющего. Даже Афон, Оптиная Пустынь, монашество не поколебали в нём этой эстетики, о которую всё для него разбивалось и от которой он не мог отречься, так как она была заключена в его неомыслимом существе.

В романе «Подлипки», который носит в значительной степени автобиографический характер, К. Леонтьев описывает поэзию дворянской усадьбы и вкладывает в героя своего Ладнева свои собственные тончайшие эстетические переживания. Ладнев, как и К. Леонтьев, дорожит *изяществом в чувственности*, его не соблазняет неизящное, простое. Но эстетическое упоение жизнью и эстетическая её оценка имеют обратной своей стороной разочарование, меланхолию и пессимизм, ибо в жизни преобладает уродство и красота оскорбляется на каждом шагу. Эти разочарования, меланхолия и пессимизм очень рано начались у К. Н. Он не обольщал себя надеждой, что в земной жизни может восторжествовать красота. Он рано увидел, что красота идёт на убыль, что *то, что люди называ-*

ют «прогрессом», несёт с собой смерть красоте. Он почувствовал это раньше, чем французские «декаденты», символисты и католики конца XIX века, но пережил это ещё с большим трагизмом, ибо искал *эстетики жизни* и не мог утешиться *эстетикой искусства*, как утешался Гюисманс и др. Уже герой «Подлипок», жаждавший любви, сладострастия и упоения жизнью, восклицает: «О Боже мой! не лучше ли стать схимником или монахом, но монахом твёрдым, светлым, знающим, чего хочет душа, свободным, прозрачным, как свежий осенний день?.. Эта светлая одинокая жизнь не лучше ли и душевного брака, где должны так трагически мешаться и жалость, и скука, и бедные проблески последней пропадающей любви, и дети, и однообразие?» Такие мысли очень рано зародились у К. Леонтьева, в самом начале его жизненного пути. Он чувствовал непроходимую пропасть между поэзией романтической любви и браком, семьей. Об этом не раз писал он впоследствии. Вот какие ноты звучат в конце романа «Подлипки»: «Как душно везде. Даже великие люди... как кончали они? Смерть и смертью... К чему же привела их жизнь?.. Как жива передо мною картина, где Наполеон, в круглой широкой шляпе и сюртуке, стоит, заложив руки за спину... Перед ним какая-то дама и негр, обремененный ношей... Как ему скучно! И ещё картина: М-те Bertrand с высоким гребнем, рак внутри, раскрытый рот и смерть. Ещё я вижу Гете в старомодном сюртуке, старого Гете, женатого на кухарке... как душно в его комнате! Шиллер изнурен ночным трудом и умирает рано; Руссо, муж Терезы, которая не понимает, кто её муж... и это ещё все великие люди! Не ужас ли это, не ужас ли со всех сторон?» К. Леонтьев вошёл в жизнь романтиком, но романтиком суровым и беспощадным, не убаюкивающим себя «красными умыслами». Он был предтечей неоромантического движения конца XIX века и начала XX века, первым мучеником этого движения духа, самым серьезным, не останавливающимся на полпути, всё доводившим до конца. Своё вступление в жизнь он прекрасно характеризует словами героя «Египетского голубя»: «После первых удач, сообразных с моими идеалами, я полюбил жизнь со всеми её противоречиями, непримиримыми навеки, и стал считать почти священнодействием моё страстное участие в этой живописной драме земного бытия, которой глубокий смысл мне казался невыразимо таинственным, мистически неразгаданным. Приучая себя к борьбе, я вместе с тем учился как можно сильнее и сознательнее наслаждаться тем, что посылая мне судьба. Немногие умели так, как я умел, восхищаться розами, не забывая ни на миг ту боль, которую причиняли мне тогда же даже и самые мелкие шипы!» Страстное участие в живописной драме земного бытия, попытки разгадать её глубокий и таинственный смысл, окунувшись в её пучину, принесли ему глубокие разочарования и страдания, привели его к паническому ужасу гибели и обратили к таинственному и неразгаданному смыслу бытия.

III

По окончании гимназии в 1849 году К. Леонтьев поступил сначала в Ярославский лицей, но в том же году был переведен в Московский университет на медицинский факультет. Медицина не была избрана им по призванию, а под давлением внешних обстоятельств и по желанию матери. Врачом он был недолгий период своей жизни, и большая часть его жизни не имела никакого отношения к медицине. Да и весь склад личности К. Н. очень не подходил для медицинской

деятельности. Но занятие медициной не прошло для него бесследно. Он прошёл естественнонаучную школу, в ней выработались навыки его мысли, и он навсегда остался натуралистом по складу своего мышления. Натурализм К. Леонтьева был одним из определяющих элементов его духовной жизни, и он связался с его эстетизмом, а позднее и с его религиозностью. Он остался анатомом, физиологом и патологом человеческого общества и пользовался методом аналогии, сравнивая процесс упрости́тельного смешения в общественной жизни с процессом болезни, например с воспалением легких. У К. Н. Леонтьева была французская ясность ума, он всегда мыслил резко и чеканно. Ему совершенно чужда была всякая метафизическая туманность и неясность. Немецкое метафизическое глубокомыслие его не привлекает, он нехорошо себя чувствует в этом своеобразном царстве. К. Леонтьев – замечательный мыслитель, острый и радикальный, но он не философ по характеру своего образования, по складу ума и по культуре ума. В слишком отвлечённых философских вопросах он всегда чувствует себя беспомощным. Мышление его было натуралистическое и художественное, ясное и образное, мысль его не могла двигаться в абстракциях. В умственном типе его было что-то романское. И не случайно, что в начале жизни ему пришлось пройти медицинскую школу, столь чуждую его призванию. Во всём творчестве К. Леонтьева чувствуется, что образование его не было гуманитарным. Он пережил увлечение естественными науками. Он был и остался реалистом, и в своей беллетристике, и в своей публицистике, и в самом подходе своем к религиозным вопросам. С этим реализмом соединял он романтику чувств; но он никогда не был идеалистом. Это – умственный темперамент, полярно противоположный Вл. Соловьёву.

Период студенческой жизни в Москве не был радостным и счастливым для К. Н. Он болел, нуждался в деньгах, чувствовал отчуждение от медицины и от товарищей-студентов. Требования к жизни у него были огромные. Он искал жизни повышенной, яркой, разнообразной, искал жизни, а не смысла жизни. Веры у него в то время не было никакой. И он переживает период острой меланхолии, которая так характерна для даровитых юношей, полных бурных стремлений, не находящихся себе удовлетворения. Сам он хорошо характеризует своё состояние: «Мне тогда очень тяжело было жить на свете; я страдал тогда от всего – от нужды и светского самолюбия, от жизни в семье, которая мне многим не нравилась, от занятий в анатомическом театре над смрадными трупами разных несчастных и покинутых людей... от недугов телесных, от безверия, от боязни, что *отцвету, не успевши расцвести*, от боязни рано умереть, «*sans avoir connu la passion, sans avoir été aimé!*» Романтическая жажда любви, предчувствие её восторгов и боязнь уйти из жизни, не испытав этих высших подъемов жизненного напряжения, особенно интересна и значительна в этих словах, в которых К. Н. вспоминает свою юность. В одном месте он признаётся, что мать его довольно женоподобно воспитывала. И в самом складе его натуры были черты женственные. Это может удивить тех, которые знают К. Леонтьева по его свирепой и жестокой публицистике. Но это делается несомненным, когда глубже вникаешь в его личную судьбу. Слишком сложный характер, романтическая окраска жизни чувств, сильное преобладание эстетизма, невозможность найти себе устойчивое место в жизни, бурные стремления и вечная неудовлетворённость – все эти свойства предполагают присутствие, наряду с резко мужскими чертами, и жен-

ственной черты, не однополюсное, а двупольное, мужественное строение души. Жажда любви, вечное искание любовных восторгов и невозможность найти единую, утоляющую, истинно брачную любовь обыкновенно говорят о сложном сочетании мужских и женских начал в характере человека. Таков был К. Леонтьев. Он придавал огромное значение красивой внешности, изяществу и физической силе. Черта натур эротических. С Боткиным он обращается грубо, потому что ему не нравится его внешность. Подобно многим романтическим и идеальным юношам своего времени, он увлекался Жорж Санд, и она оказала большое влияние если не на развитие его мыслей, то на развитие его чувств. К. Н. говорит, что в молодости он был и романтиком и нигилистом... Юность свою он называет «мечтательной, тщеславной и отвратительно-страдальческой». Тогда в нём происходила жестокая борьба поэзии с нравственностью. Политиком молодой К. Н. не интересовался. «О государственных собственно вопросах я и не размышлял в эти годы; я даже вовсе тогда не понимал их и не искал понимать, сводя все на вопросы или личного счастья, или личного достоинства, или к поэзии встреч, борьбы, приключений и т. д.». Революциями он интересовался исключительно со стороны драматизма, поэзии борьбы, а не со стороны перестройки общества. К. Леонтьев принадлежал к тому типу ярких людей, которые «больше думали о развитии собственной личности, чем о пользе людей». К этому типу принадлежал и великий Гете. В этот московский период К. Н. влюбился в одну девушку, Зинаиду Яковлевну Кононову, и пользовался взаимностью. Отношения их продолжались пять лет и «принимали разные формы – от дружбы до поэзии пламенной страсти». Отношения эти были, по-видимому, неясные, не определившиеся окончательно, и они не давали окончательного удовлетворения. Эта первая известная нам любовь К. Н. кончается разрывом, и инициатива разрыва принадлежит ему. З. Я. Кононова выходит замуж по расчету. К. Н. имел большой успех у женщин, и это продолжалось всю жизнь. Он был очень красив. Тургенев говорит о К. Н., что он «чрезвычайно joli garçon», и в глаза ему говорит: «При вашей внешности, при ваших способностях, если бы вы были более лихим, вы бы с ума сводили многих женщин». Сам К. Н. признаётся, что успех у женщин больше его радовал, чем признание его таланта. Как характерно для этого периода жизни К. Н. место его воспоминаний, в котором он сопоставляет свою жизнь с жизнью Каткова, у которого жена была «худая, плечи высоки, нос велик», квартира была «труженическая» и халат «обыкновенный»: «Побывавши у него, я возвращался в свои отдалённые, просторные и приличные три комнаты, смотрелся в зеркало и видел... и в нём и во всём другом... много, очень много надежд... Семья, слава Богу, около меня давно уже не было. З. меня ждала наверху, в хороших комнатах, сидя на шелку и сама в шелках. Душистая, хитрая, добрая, страстная, самолюбивая... „Tu demande, si je t'aime, – говорила она, – ah! je t'adore... Mais non! J'aurais voulu inventer un mot...“ Это не то, что мадам Каткова... Бедный, почтенный, но всё-таки бедный Катков. Тургенев, по крайней мере, холост, барин, очень красив, bel homme, у него 2 000 душ... Это другое дело». К. Н. сам совету-ет З. выйти замуж за другого. Он «приносит любовь в жертву свободе и искусству». «Он приносил в жертву и молодую страсть, и надежды на тихое семейное счастье, возможное с такой умной и доброй женщиной, неизвестному будущему поэзии, приключений и славы!» К. Н. боится брака и семейной жизни. Он хочет остаться свободным, хочет сохранить поэзию, которой грозит опасность от се-